

Николай Троицкий

СЛОВО

НОВЕЛЛЫ

Книга четвертая

Нью Йорк
1975

Николай Троицкий

СЛОВО

НОВЕЛЛЫ

Книга четвертая

Нью Йорк
1975

Copyright by the Author
1975

Николай Александрович Троицкий

605 Harvard Street
Vestal, N.Y. 13850

U. S. A.

Printed in U.S.A.

COMPOSED ON VARITYPER BY V. SKORNIKOFF
221 GLEN COVE AVENUE, SEA CLIFF, N.Y. 11579

1975

Откровения святого Иоанна Богослова :

"То, что видишь, напиши в книгу..."

Глава I, стих II.

"Итак напиши, что ты видел, и что есть..."

Глава I, стих 19.

Шел Христос по городам и деревням. Шел и плакал. И никто не признал Его. И никто не спросил Его: "О чем плачешь Ты?" И исполнилось Его: "И будете искать Меня . . . и не найдете больше Меня".

* * *

Человек незаметно подошел ко мне. Я вздрогнул и отшатнулся. Но он тихо сказал:

— Не бойся меня! Бойся их! Я стар, очень стар. Я родился в начале нашего века и умру в конце его. Целый век жизни! Век революций, войн, миллионов замученных и убитых, миллиарды новых рождений, растление человека и слабое мерцание Божественности!

Нами почти утеряна вера в людей. Весь мир во лжи. Но я человек и ты человек. Вот возьми и сохрани! А если можешь, сделай это общим достоянием. Это все, что я и ты можем сделать. Только знай — никто не услышит нас. Уже поздно!

Ушел человек. И если вы скажете, чтобы я опознал его — я не смогу, ибо таких миллионы. Как я могу отличить его? Он как все!

* * *

Я развернул свиток и стал читать.

С О Н

Старик долго шевелил пересохшими губами. Потом начал жевать что-то. Вряд ли у него что-нибудь было во рту. Глубоко впавшие щеки подсказывали, что ни своих, ни искусственных зубов у него не было. Затем он начал ворочаться на скамейке, как будто хотел встать и не мог. Вскоре безнадежно махнул рукой.

Сидевшие недалеко от него молодые парни смотрели на него. Наконец один из них сказал:

— Надо выручить старика! — и все подошли к нему.

— Можем мы вам помочь подняться?

— Нет, — ответил старик. — А, вот, если вы сядете, я вам скажу что-то.

Переглянувшись, они уселись перед ним на траве.

Весенний день был радостен и тих. В это, еще непозднее, воскресное утро людей в парке было немного.

— Вы молодые, а я старый. Трудно вам понять нас. Но вот, что случилось в моей жизни! Когда я был малым, я увидел сон. И все во сне было не так, как в жизни. Все стояло "вверх ногами": и дома, и деревья, и даже люди и собаки!

Перепуганный, я проснулся. Побежал к бабушке и рассказал ей виденное.

— Во сне все правда, а в жизни нет! — ответила она.

— И я так смеялся, так смеялся. — Старик качнулся и выронил из сухих губ:

— Хе! Хе!

Потом позже я узнал, что видимое во сне часто бывает хорошим, а в жизни это же самое плохим. А еще позже мне пришло в голову, что как же так? Логичное в жизни плохо, а нелогичное во сне хорошо!?

И теперь для меня встает страшный вопрос! А что, если человечество, исходя из своей логики, думает, что оно идет правильным путем, а путь-то его, может быть, ложный! Может и логики-то никакой нет!

Он посидел молча с полминуты.

— Вот и все! Теперь мне надо идти принимать лекарство.

Он трудно поднялся и, пошевеливая сухими губами, неспешно ушел от своих слушателей.



МОНОЛОГ

— Ты священник, а я революционная власть! Хоть и малого городка, но власть. Народная власть! Ты веришь в Бога, а мы решили, что религия — помеха к счастью человека. Тебя учили там, в разных семинариях, быть священником, а мы классовым чутьем поняли и смысл жизни и свою правоту. Ты думаешь, что я неграмотный и могу только убивать людей? Нет, друг! Это не так. Что я кончил только начальную школу — это верно. Буржуазные классы меня в детстве большему не учили. Но зато я теперь много читаю. Очень много!

Начальник потянулся в кресле. Помолчав, он закурил. Старенький священник понуро сидел по другую сторону стола. Дверь была открыта. В коридоре стоял солдат.

— Вчера мы решили... всех вас расстрелять согласно нашей революционной законности. Есть там еще несколько человек вроде тебя. Помеха вы нашему строю. Особенно ты — представитель религии!

Я об этом целую ночь думал и читал. Не спал, а читал. Вы считаете, что есть какая-то душа вне тела и что вера в Бога — не пришедшее от жизни, а заложена в самом человеке. Это все сказки! Так в книге и сказано. Мы решили, что жизнь и тело — основа самосознания личности. Так? А ты говоришь, что я неграмотный!

А еще читал я о боли. Ведь вас будем расстреливать, и я должен знать, как вы все будете чувствовать свою смерть. Будет ли боль или нет? — размышлял я. — А ты думал об этом?

Священник молчал и дрожащей рукой мелко перекрестился.

— Опять свое! Значит ты не думал и мне пришлось думать за тебя. Боль у тебя будет! Потому что у человека еще несовершенная натура и без боли обойтись нельзя. Боль охраняет жизнь человека, и это дано ему природой. Так? А мы, революционеры, хотим построить счастливую жизнь для всех людей и изменить и природу и натуру человека. Может в будущем осилим и боль. А чтобы начать перестраивать жизнь, нужны жертвы. Понятно? Ты будешь там говорить о смысле страдания на земле, но это не для нас. Мно-о-о-гое можно говорить-то, а мы, брат, люди дела!

Начальник встал. Подошел к окну и долго

смотрел в него. Затем устало повернулся к священнику:

— Вот и все, что я хотел сказать тебе. — Он кивнул солдату.

* * *

Ночью в лесу у вырытой ямы были поставлены семь человек со связанными сзади руками.

Раздались выстрелы!

Засыпали быстро. Среди мертвых только священник был еще жив и шевелился, задыхаясь от сыпавшейся на него земли. Он полностью осознал и боль и смысл человеческих страданий.



П Р О Щ Е Н И Е

Он так просил – в письмах, по телефону. И я зашел к нему. Не друг мне, не товарищ,... но я пришел к нему. Через толстые стекла очков на меня смотрели предельно усталые глаза.

– Я знал, что вы придете. Я так нуждаюсь в этом. Я должен вам рассказать коротко все! О прошлом вы знаете многое, а я – о настоящем.

Вы слышали, наверно, я женился. Я окружен заботой и комфортом. Это все ее, – и он слабо обвел рукой, показывая богатую обстановку.

– Но я заплатил за это ложью. Она католичка. И я принял чуждое мне католичество. Она не знает, что там, на покинутой родине, остались жена и дети!

Вот и все! Ложь! Вся жизнь ложь!

* * *

Его холеное лицо изредка подергивалось. Подтянутая военная фигура была влита в кресло. Поблескивая стеклами толстых очков, четко выговаривая слова, он сухо закончил:

— Вы знаете, конечно, что я могу уничтожить вас!

* * *

Я вздрогнул и видение исчезло. Передо мною вновь сидел старый, почти слепой старик — тень прошлого.

Что я мог сказать ему! Что?

— Идите к католикам, — с трудом выговаривал я, — и все расскажите.

... Я не в силах, — шепотом ответил он.

... Идите к своим, православным!

— Не смогу, — едва расслышал я.

Сумерки большого, европейского города. Там, за стенами дома суতোлка тысяч спешащих людей: озабоченные лица, пары в обнимку, регулировщик на перекрестке, направляющий это нелепое движение.

Здесь в большой со вкусом обставленной гостиной тихо. Кофейного цвета шторы создают полумрак и уют.

Двое в комнате. Два старых человека.

Долгое, очень долгое молчание.

Наконец я поднялся и, подойдя, положил руку на его плечо.

Он вздрогнул и стал совсем небольшим, провалившимся в глубоком кресле.

– Я не священник, ... но я ... человек. Пусть сказанное вами будет исповедью. Никуда не ходите, никому ничего не говорите.

А я... прощаю вам... все! Живите с миром.

* * *

Выходя, я тихо прикрыл за собой дверь.
И теперь его грехи на мне.



Х Р И С Т О С

Следователь кончил записывать общие данные. Отложив ручку, он закурил сигарету, откинулся на спинку стула и стал молча разглядывать арестованного.

Длилось это довольно долго. Сделав глубокую затяжку, притушив окурок в пепельнице, он, наконец, приступил к допросу как к тяжелой работе.

— Странный ты человек! Зачем тебе все это нужно?

— Я не понимаю вас, — тихо ответил подследственный.

— Не понимаешь? Сейчас поймешь! Ты гражданин нашего отечества?

— Да, конечно.

— Ты думаешь, что ты лоялен своему правительству?

— Да, я так думаю.

— Ты считаешь, что все твоё поведение не приносит вреда государству?

— Не приносит.

— Но ты веришь в Бога?

— Да, я верю.

– Ты не только веришь сам, но и заставил верить свою жену.

– Нет, она верит без всякого моего принуждения.

– Ты не только заставил свою жену, но и совратил детей!

– Я, как отец, не мог их совращать.

– Но ты водил их в церковь?

– Да, они ходили со мной.

– Это и есть ПРИНУЖДЕНИЕ. Кроме того, твоя семья повлияла на соседей и они тоже стали верующими.

– Нет, это не так. В них была заложена вера в Бога, как и во всяком человеке. И они сами осознали ее.

– Ты, ты помог им осознать эту самую веру и развить ее!

Следователь, в упор уставившись в глаза арестованному, раздельно проговорил:

– Все то, что ты делал с семьей и окружающими – это и есть ПРИНУЖДЕНИЕ и НАСИЛИЕ! А принуждение и насилие одного члена общества над другим карается законом. То же самое и вредное влияние! Только наказание в первом случае – изоляция совершившего проступок, а во втором – воспитательные меры. Таковы наши законы! А так как ты гражданин нашей страны, то они относятся и к тебе! Понял наконец?

— Вера в Бога заложена в человеке. Это вечное. Это не принуждение и не влияние среды или кого-либо. Это Высшее. Это ДУХОВНОЕ!

— Идиот!

Следователь вскочил и хотел сказать что-то еще. Но после секундной паузы нажал под крышкой стола сигнальную кнопку. Выходя из кабинета и встретив двоих входящих, он бросил им :

— Займитесь!

* * *

Через полчаса он вернулся. Подследственный без движения лежал на полу. Взяв графин питьевой воды, следователь, стоя над лежащим, начал поливать его голову и лицо.

Арестованный зашевелился.

— Вставай! — следователь пиннул лежавшего носком ботинка. — Интеллигент! Дотронуться нельзя — сразу же и в обморок.

Арестованный, с трудом поднявшись, едва дошел до стула и тяжело опустился на него.

— Теперь ты понял разницу между надуманной твоей верой и железной поступью современности? Твоя вера — ничто, а законы современности — необходимость. Понял?

— Я все понял. Но я верую в Бога . . .

— Вст — а — ты! — арестованный едва поднялся. — В угол! В угол! — багровея, продолжал кричать следователь.

Покачиваясь, допрашиваемый дошел до угла комнаты и повернулся. По лицу его катились слезы, перемешанные с кровью.

Следователь упруго подскочил к арестанту и в лицо выплюнул ему вместе со слюной:
— Хрис — тос!

* * *

Так и пришел в концентрационный лагерь еще один заключенный под именем "Христос". И во имя предначертанной ему свыше необходимости отдал там свою жизнь.

* * *

РАЗГОВОР

– Ну, как дела?

Грета поднимает глаза и смотрит мне в лицо.

– Болит? Я знаю. В суставах задних ног. Так твой доктор сказал. Артрит у тебя.

Подняв голову, она, нехотя, взглянула на свое предхвостье.

– А у меня плечо и шея болят. Тоже артрит.

Грета вновь смотрит на меня. Она вся такая белая. Шерсть у нее с атласным отливом. Овчарка она – далекий потомок белых полярных волков. Уши небольшие и всегда поставлены настороже.

– Ты красивая, – говорю я. Она опускает глаза. Не любит комплиментов.

– Блондинка ты с черными глазами!

Никакой реакции. Смотрит в пол. И я меняю тему.

– Старики мы. Поэтому и артрит – старческая болезнь. – Грета опять смотрит.

– Если у тебя болит, я дам тебе таблетку. Хочешь? Легче станет. А сам приму аспирин и мое плечо успокоится.

Глаза опускаются.

— Не хочешь? Не надо. Перетерпим и так.
— Помолдав, я продолжаю:

— Нам с тобой повезло. Я тебя вожу к ветеринару, а сам хожу к своему доктору. А у других хуже. Особенно у одиноких! Заботиться о них некому. Но ты не беспокойся. Я тебя в обиду не дам. Только, вот, сам старею.

Грета, потянувшись, благодарно взглянула на меня.

Я продолжаю думать о своем.

— Знаешь что? — говорю я. — У вас собак с детьми лучше, чем у нас, у людей. Всех у тебя их было тридцать штук! И все белые, такие смешные! Помнишь? Ты их выкормила. Потом часть их раздали, а часть продали. А теперь ты встречаешь их, как чужих. Я видел и знаю.

У людей сложнее: дети уходят, а у родителей память о них на всю жизнь. А молодым-то что? У них своя жизнь. Правильно, конечно, что своя, но . . .

Я не решаюсь продолжать то, о чем думаю. Правду — будущую, страшную правду! Я знаю, что этот ужас не успеет коснуться нас. Но он меня тревожит.

Я долго молчу. Грета уже давно смотрит в пол. Но, наконец, я не выдерживаю навязчивости мысли — ведь кроме собаки никого нет и никто не слышит нашего разговора.

– Знаешь, что беспокоит меня? Судьба стариков в будущем!

Собеседница не поднимает глаз. Я знаю, она думает: "Занимаешься пустяками!" Но ей не понять. Она же собака. И я продолжаю:

– Цивилизация сушит общество – гуманизм и теплота исчезают. Особенно в отношении состарившихся. Они всем обуза!

Грета смотрит в пол. Я чувствую, что мне надо остановиться, но не могу.

– Мы еще захватили с тобой время, когда стариков любили, уважали и умирали они дома. Нам с тобой придется, наверно, умереть уже в больнице. А вот в будущем от них... просто будут ... освобождаться. Многие считают это необходимым. Уже в газетах об этом спорят. И слово такое нехорошее придумали: евтаназия – ускорение смерти! Страшно это! Не для нас, современников, а за будущее человечество страшно.

Спазма перехватывает мне горло. Я, проглотив слюну, прогоняю ее и пытаюсь сказать бодрее:

– Ну, а мы с тобой пока счастливые!

Грета в упор, пристально и долго смотрит мне в лицо и я смущенно говорю:

– Может это и не случится, и человек снова вернется к человеку, – но не выдержав ее взгляда, заканчиваю в сторону, – только вряд-ли!

Сияясь улыбнуться, я снова смотрю на нее.

— Мы с тобой счастливые! Понимаешь?

Она закрывает глаза.

— Не хочешь разговаривать? Понятно!

Все понятно!

* * *

Уставившись в раскрытую книгу, лежащую у меня на коленях, я никак не могу вернуться к ее содержанию. Что же я читал?

Ах, да! Сонеты Франческо Петрарка! Бессмертные для нас, но, видимо, не для будущего! Сонеты . . . на смерть Мадонны Лауры!



С Л О В О

Шла война.

В разгаре боя наступила передышка. Артиллерия смолкла. Атаки самолетов прекратились. Лишь вдали стучали пулеметы.

Генералу доложили, что солдат отказывается применять оружие.

— Доставить ко мне!

Сидя за походным столом, он внимательно рассматривал приведенного.

— Ты отказываешься быть в армии?

— Нет! В армии я остаюсь. Это мой долг.

Но стрелять в людей я не могу.

— Они наши враги!

— Я не могу стрелять в них: они люди.

— А если они первые применят оружие?

— Пусть убивают... Но перед этим я попытаюсь обратиться к ним.

— Как и с чем?

— Я им скажу, что я не имею оружия! Что все люди братья, и все наши споры мы должны решать словом. — И он мягко, проникновенно повышенным тоном повторил:

— Словом!

– Все страны имеют армии. Когда руководители государств не могут путем переговоров решить спорные вопросы, тогда вступаем мы. Армия! Оружие! Понял?

– Я все понимаю. Но надо же когда-то начинать!

– Тот, кто начнет, погибнет.

– Возможно. Но ведь за ним могут последовать с обеих сторон другие – сотни, тысячи, миллионы! И тогда мир будет избавлен от ненужно-проливаемой крови! От войн!

Генерал молчал. И солдат решил, что он победил. Он широко по юношески улыбнулся.

* * *

Когда солдата уводили, генерал сделал условный знак адъютанту. Оставшись один, он опустил голову.

* * *

Невдалеке от генеральского бункера раздался сухой, одиночный, негромкий выстрел. И тут-же, как по команде, вновь начался неприятельский артиллерийский обстрел.



СТАРОСТА

Следственная тюрьма для политических заключенных. Пять часов вечера. Ужин. В камере выдается каша. Надо наполнить двести двадцать алюминиевых мисок, так как в камере столько же и арестантов. Дверь полуоткрыта. В проеме двери стоят раздатчик каши, тоже из арестантов, и надзиратель в военной форме. С этой стороны двери миски с кашей принимает староста камеры.

— Семьдесят одна! Семьдесят две! — отсчитывает он.

Староста молодой, что видно по его движениям. Он перебрасывает миски стоящим сзади него арестантам. Те подхватывают их на лету и миски плавно плывут от двери к окнам.

Сидящие вблизи окон уже получили свои порции и едят. Иначе организовать выдачу нельзя. Камера восемь на двенадцать метров и на каждый квадратный метр приходится более чем два арестанта. Общее передвижение невозможно.

Торцами к стенам стоят узкие, железные, одиночные кровати, а посредине камеры небольшой продолговатый стол. На одной из кроватей стоит помощник старосты и наблюдает за распределением мисок.

Двести двадцать человек, но в камере тихо. Редко кто бросит соседу одно-два слова, да и то вполголоса.

— Двести семнадцать! — повышает голос староста. — Двести восемнадцать! — звучит еще громче. — Двести девятнадцать! — и староста, выпрямившись, повернулся к арестантам:

— Все получили? — Молчание.

— Двести двадцатая мне! — Взяв миску, он идет по узкому проходу к своему месту на кровати возле окна.

У окон лучшие места в камере. Здесь располагается "знать" из арестованных, имеющая наиболее давние аресты. От них, по направлению к двери, арестантами занимают места строго по датам дня ареста. Только что арестованные оказываются около двери. Рядом с ней стоит высокая, черного цвета металлическая бочка. Это отхожее место камеры. Воздух здесь тяжел и густ.

Староста ест свою кашу. Его лицо бесстрастно. Глаза его большие и светлые иногда вдруг суживаются в узкие монгольские

щелки, за которыми ничего нельзя разглядеть и узнать. Вот и сейчас, оглядывая свою камерную паству, он останавливается на человеке в рясе. Но тут же, едва он увидел рядом сидящего арестанта с неопрятным лицом, глаза превратились в щелки. "Странно, — думает он, — священник и единственный уголовный в камере оказались рядом".

Человек в рясе доедал кашу. Он очень замкнут. Молчаливо выполняет все несложные правила камерного распорядка: громко не разговаривать, меньше двигаться, быть терпимым ко всему. На необходимые по камерному сожительству вопросы отвечает всегда кратко и доброжелательно. Но в его ответах, в его тихом голосе что-то заставляет других арестантов не лезть к нему с назойливыми расспросами, не начинать искусственно вызванных споров. При необходимости передвижения, что необычайно трудно в этом скопище, как-то получается, что все уступают ему дорогу. Идя к двери для опорожнения, невысокий, немного согбенный, он, как всегда, опустив голову, тихо благодарит посторонившихся:

— Спасибо, спасибо.

Так и живет он среди двухсот в каком-то своем неведомом мире. Но все же узнали, что он архиерей. А еще говорили, что он знает несколько иностранных языков.

Его сосед — уголовник низок, коренаст, с крепко посаженной головой и черными масляными глазами. В прыщавом лице уголовника угадывается присутствие нехорошей болезни.

Пустые миски вновь плывут, подаваемые из рук в руки, но на этот раз к столу, и ставятся стопками. Помощник старосты следит, чтобы в каждой стопке было точно по пятьдесят мисок: четыре по пятьдесят и одна — двадцать. Рядом кладутся двести двадцать алюминиевых ложек. Скоро откроется дверь, раздатчик под взглядом надзирателя все точно пересчитает и вынесет из камеры. Щелкнет замок, и наступит самый нудный период дня с 6-ти до 9-ти часов вечера. В это время нет ни допросов, ни проверок, ни прогулок — мертвечина. В девять часов откроется дверь и будет получен приказ ложиться спать.

А сейчас в камере стоит ровный, спокойный гул переговаривающихся арестантов. Вот гул начинает нарастать. Все усиливают свои голоса, чтобы быть лучше слышимыми собеседниками. Это произвольно, возбуждающе действует на вечно напряженные нервы арестантов. Кто-то уже встает и, размахивая руками, что-то доказывает. Гул нарастает и нарастает. Сейчас откроется дверь и надзиратель... Но раздастся предупреждающий чеканный приказ старосты:

– Ти-ше! – секунда и все затихает. Вставшие усаживаются. И опять, как в улье пчел, ровный, спокойный гул приглушенных голосов.

Староста знает свою силу. Но его сила основывается лишь на осознанности арестантами необходимого, непрекословного подчинения ему. Иначе в камере начнется невообразимое. Его оружие – невозмутимость. Его приказы отдаются ровным голосом, спокойным жестом или только взглядом. У него более ничего нет. Но все его указания – сверхзакон! Он неограниченная власть для двухсот девятнадцати человек.

Три месяца тому назад, когда в камеру ввели эту разношерстную толпу, вошел администратор тюрьмы.

– Староста есть? – Не получив ответа, он ткнул пальцем в первого стоящего и сказал:

– Ты будешь староста!

Никто не интересовался тем, что названный теперь понесет двойную нагрузку на своих мозгах, нервах и психике: быть арестантом и быть внутренней властью для других арестованных. Его имя знали все, но обращались к нему только как: "Староста".

Многое слышали стены камеры. Арестанты, особенно из интеллигенции, подробно

рассказывали о себе, о своих семьях, о своей работе. Другие были воздержанны и скупы на сообщения. К числу последних принадлежал и староста. Знали, что он был членом партии, возглавляющей государство, и что работал где-то за границей на очень ответственном посту. А так как правительственная партия, кроме руководства страной, ставила себе задачей свершение революции во всем мире, всем было понятно, что староста за границей был на секретной работе. Расспрашивать об этом не полагалось.

Время движется тягуче-медленно. Наконец девять часов вечера. Дверь приоткрывается.

Все смолкло.

— Староста! — и, не дав времени для ответа, надзиратель добавляет:

— Спать! — Как привидение он исчезает. И вновь слышен щелк поворота ключа.

Начинается полуторачасовой процесс укладывания ко сну. Все знают свои места. Но надо уложиться двумстам двадцати людям на девяносто шести квадратных метрах. Немного помогают десять узких кроватей. Они являются как бы вторым этажом. На них ложатся по двое "валетом", головами в разные стороны. Остальные укладываются на полу,

занимая места и под кроватями. Ложатся все на один бок, на правый. Перед лицом каждого затылок впереди лежащего. Перерезая камеру, оставлен пятнадцати - сантиметровой проход к бочке-уборной. Это — "магистраль".

Среди ночи раздастся, как и всегда, негромкий приказ старосты :

— Поворот! — и все, как один, выполнят эту команду — лягут на левый бок. Это должно занять полминуты.

А сейчас арестанты, наконец, улеглись. Многие делают вид, что спят. Кто-то действительно спит. Кто-то видит что-то во сне и бормочет или вскрикнет. Некоторые храпят. Иногда слышно произносимое шепотом проклятие. А кто-то, закрыв глаза, видит себя в трансе свободным и живущим нормальной жизнью. Как на яву он живет дома со своей семьей, выполняет свою любимую работу, встречается с друзьями.

Двести двадцать тел и каждое тело — живой человек. И среди них староста. Молодой, сильный — элита государства. Дитя своей партии, ее винтик. Выученный и воспитанный ею в соответствии с передовой социально-экономической теорией XIX-XX-го века. Эта теория ставит задачей захват несовершенного мира, переделку человеческого общества и перевоспитание самого человека. Эта теория отрицает

все религии, но, в свою очередь, сама стала религией единой и непогрешимой. Староста верил во все это, служил этому, был предан и был готов за это в любую минуту отдать свою жизнь. Но партия почему-то решила изолировать его. Двести девятнадцать тюремных тел и двести двадцатое тело старосты. Он лежит, закрыв глаза, а если они и приоткрываются, то ничего в них не понять, ничего не увидеть.

Тела выделяют тепло, испарения и газы. Бочка-уборная добавляет едкий запах аммиака. И зимою и летом окна открыты, но этого почти не чувствуется. Воздух, особенно ночью, становится как бы конденсированным. Высоко под потолком, на шнурах, тускло светятся день и ночь две лампочки. Все спят! Спят ли?

— Староста! Опять он все время возится, спать не дает. Все к попу лезет!

Из другого места насмешливый голос добавляет :

— Он думает, что это не ряса, а юбка!

И опять тихо. Староста, нехотя и медленно, поднимается с кровати. Не торопясь, идет по "магистрали", стараясь не наступать на лежащих, и подходит к месту происшествия.

— Встать! — тихо и глухо произносит он.

Первым поднимается уголовник. Сзади него встает архиерей. У старосты щелки — — ничего не видно, ничего не понять. Он

поднял правую руку и почему-то трогает свое лицо. Одна-две секунды молчания. Вдруг он делает небольшой шаг левой ногой вперед с едва заметным наклоном всего тела и одновременно его правая рука выпрямляется на короткое молниеносное движение и дотрагивается до подбородка уголовника.

Это был классически отработанный боксерский прямой выпад.

Уголовник стоит еще несколько секунд, но его глаза уже потухли и становятся бессмысленными. Затем он начинает медленно оседать, складываясь, как гармошка. Колени движутся не вперед, а влево, тянут за собой туловище и поворачивают его на сто восемьдесят градусов. Он ничком, сложившись пополам, падает в ноги стоящему архиерею. У старосты чуть брезгливо дергается нижняя губа.

— Когда очнется — к бочке! — приказывает он и медленно возвращается к своей кровати.

Как будто ничего не произошло. Никто не поднял головы. Стоит только архиерей и, уткнувшись лицом в его ноги, лежит уголовник. Архиерей стоит без всякого движения. Затем его губы начинают шевелиться. Он молится. Молится долго. Но вот он выпрямился. Его рука, разрезав тягучий воздух, уверенно

и высоко поднялась вверх и, став большим и строгим, он начертал впереди себя крест, благословляя камеру, лежащие тела людей и уголовника, склонившегося к его ногам.

Староста все видел. Он видел, как очнулся уголовник. Как ему передали приказ и он, пошатываясь, наступая на людей, направился к бочке-уборной. Слышалась произносимая шепотом ругань потревоженных арестантов.

* * *

Прошло несколько минут. Рывком повернувшись на живот, староста ткнулся в жесткую соломенную подушку, спрятал лицо, весь передернулся и замер.

Как свеча один посреди камеры стоял архиерей.



СИМФОНИЯ ВЕКА

Четверо их было. Четыре угла в помещении – каждому по углу. Ни стола, ни стула, ни кроватей – так на полу и сидели по углам. Окно зарешечено, а снаружи козырек – ничего не увидишь. Есть дверь, но заперта: нет выхода. Выход-то есть, но только к смерти.

Смертники они были – приговоренные к расстрелу. Приговор обжалованию не подлежит и исполняется в течение семидесяти двух часов. Таков закон!

Собственно их было трое, но сегодня утром ввели четвертого. Был он низок ростом и губаст.

– Здравствуйте! – входя, сказал новый.

– Привет! Если не шутишь, – откликнулся молодой парень. – А мы думали: Угол-то пустой! Ан нет. "Свято место пусто не бывает".

Новый занял угол.

– Давно здесь?

— Да нет! — доброжелательно отвечал молодой. — Мы, — он кивнул на остроносого и печального человека, — с учителем двухдневные. Так что сегодня наш последний день.

А тот — инженер. Он ремонтировал какую-то машину. После ремонта ее запустили, а она нагрив дала. Приехала комиссия, разобрали машину и в цилиндре нашли клочек бумаги. Суд и дал ему за это "бумажку" на тот свет. И теперь комедия! Никак расстрелять не могут. Девяносто два дня сидит он здесь. А сегодня девяносто третий! Забыли что-ли? Сам он уж мало соображает.

Инженер, серый лицом, понуро сидел, прислонившись к стене, и, не отрываясь, смотрел в пол. Приходного он не заметил и только изредка бормотал:

— Девяносто три... девяносто три ...

— А вы? — спросил толстогубый учителя.

Тот не ответил.

— Он статью написал о нашем вожде и отдал ее иностранному журналисту, — вмешался опять парень. — А журналист взял да и передал ее властям. Ну и конец ему! Кто же может о вожде говорить плохо.

— А ты?

— Я за правду. У меня правдошное дело. Мать моя больна. Вез я в наш деревенский магазин белый хлеб. Ну и утаил два кило: порадовать старуху. А все обернулось в воровство. За кражу государственного имущества

и по другим каким-то законам меня к лишению жизни и укатали.

Рассказывал он все спокойно, но закончил, помотав головой, сокрушенным тоном :

– Вот оно, братец, как все получается. Теперь жизни меня решат, а мать останется. А ей ведь доживать как-то надо. У нее кроме меня никого нет.

Он деловито осмотрел новичка. Не дожидаясь вопроса, толстогубый сказал :

– А я музыкант. На тубе, самой большой трубе в оркестре играл. У тебя нелепая правда, а у меня нелепая ложь. Будто я бомбу в трубу спрятал, чтобы, когда придет в театр вождь, убить его... Два дня тому назад приговорили...

– Значит тебе сегодня тоже последний день, – прервал парень. – Жди! Днем они не стреляют, ночью – да!

Музыкант побледнел.

– А ты не сокрушайся! Еще целый день жизни! Богу помолись – оно легче станет. Смотри, губы-то твои затряслись. А они у тебя, вон какие! Просто губошлеп. Как это ты себе работу по губам нашел?

Музыкант криво улыбнулся :

– Это верно : работа по губам.

Парень уже совсем весело подтвердил :

– Ты в нее все дуешь и дуешь. Гляди грудь-то какую надул! Широкогрудый ты! – И затем хозяйственно добавил: – Ты на дверь сейчас ноль внимания. Вечером – да. Тогда дело другое, а сейчас – нет! Сейчас нам принесут сахарку, "чайковского" – чаю, значит, хлебца и плошки. Посуда деревянная. Это чтобы мы себя ею жизни не лишили. Тут, брат, все хитро придумано. Мы на то не имеем права, а они – да!

Дверь открылась. Надзиратель стал, держась за нее. Подсобный рабочий спросил:

– Кто старший? Получи!

– Я! – откликнулся парень. Легко поднявшись, он подошел к двери. Получив четыре пайки хлеба, восемь кусочков сахара, жбанчик чая и миски – все положил на пол.

Дверь закрылась.

Парень разнес хлеб, на верх которого положил по два кусочка сахара. Себе в угол принес последнюю пайку. Потом роздал каждому миски, взял жбан и, налив чаю учителю и музыканту, подсел к инженеру.

Обращаясь к новичку, сказал:

– Его поить и кормить надо. Сам не может. – Он долго дул на чай, чтобы остудить его. Потом откусил сахара и, отломив кусочек хлеба, говорил инженеру:

– Открой рот! Вот тебе и сахар и хлеб, – и совал в послушный рот. – Жуй, жуй! А теперь хлебни. Запей: в сухомятку не годится.

Инженер с оловянными глазами исполнял все, что ему приказывалось.

– Глотай, глотай! Что ты все жуешь! – Парень прижимал его нижнюю челюсть. Инженер глотал.

– Это, – парень показывал половину пайки, – мы оставим на обед. Съешь с супом. А вечером – каша. К ней хлеба не надо. Кто кашу ест с хлебом?

Подмигивая музыканту, он аккуратно положил остаток хлеба около инженера. Потом перешел в свой угол и степенно, долго, молча пил чай и медлительно жевал.

Учитель выпил чай с сахаром, до хлеба не дотронулся. По умным и усталым глазам было видно, что мозг его работал непрерывно и упорно.

Музыкант успокоился: поведение деревенского парня помогло ему. Он даже с каким-то удовольствием попил чая с хлебом и, по видимому, сидел готовый к разговору.

Помог опять паренек. Приведя вокруг себя все в порядок, он удобно уселся и сказал:

– Ну, музыкант! Расскажи нам чего ты там в трубу дуешь?

– Чего рассказывать! Все дую, – и он даже улыбнулся. – "Чайковского", как ты говоришь, тоже дую.

– Вот и расскажи про него. А то все – Чайковский, Чайковский! Тебе и карты в руки.

Музыкант посерьезнел.

– Чайковский! Его не расскажешь! Не передашь!... Шестая! – он вздохнул. – Одна Шестая чего стоит.

– Валяй, валяй! – подбадривал парень.
– Чего шестая? Начинай с начала.

– Ну, что ты! За одну Шестую жизнь отдать можно.

Все пережитое и страшное за последние дни потребовало времени переключиться на то, чем он жил прежде, чему посвятил свою жизнь, что было его святое святых. Пальцы его начали подергиваться, будто нажимали на клапаны. Он смотрел на парня, но вряд ли видел его.

– Шестая!... Шестая симфония! – медленно с большой паузой повторил он. – Трагедия и безысходность человека. В этой симфонии он весь сам.

Это сейчас – мы.

Он говорил монотонно без всякого выражения.

Он не видел тюремной камеры, сидевших сосмертников, двери с "волчком".

Он был вне всего этого — он был "там"! Парень, не отрываясь с недоумением смотрел на него.

Музыкант наклонил голову и, изредка, покачивал ею. Затем начал шептать, как будто переговариваясь с кем-то. "Помнишь, — слышалось ему, — как мы выходили на сцену? Потом рассаживались по своим местам. Ноты уже положены на пюпитрах. Пробуются инструменты. Гобоист дает "ля" и мы все настраиваемся по данному тону.

Зал шумит! В этом шуме радостная приподнятость. Входит и входит публика, растекается по своим местам.

Взрыв рукоплесканий! Это появляется из-за кулис наш дирижер. Он поднимается на подиум, кланяется публике и поворачивается к музыкантам. Глазами спрашивает: "Все ли здесь? Спокойно — все будет хорошо!" Рука его поднимается. Зал затихает. Легкий холодок пробегает по телу. Едва уловимое движение дирижерской палочки ... и ..."

— Та — ра — ра — ра ... ра — ра — ра ... ра а а а, — глухо, низко и замедленно выползло из толстых губ музыканта. Но, замолчав и нахохлившись, он снова сидит неподвижно с остановившимся взглядом. Его щеки надулись и в отрешенном сознании зазвучали тяжкие вздохи фаготов начала Шестой симфонии. Он

ясно слышит их переход в тревожные восклицания и вскрики. Он слышит, как в сумеречные фразы фаготов и контрабасов входят призывы альтов и валторн — начало рокового исхода!

Его слух улавливает голос каждого инструмента и он уже не музыкант, а одна из мелодий, которая несется в потоке звуков, сливающихся в одно целое, законченное, совершенное. И это — его жизнь.

Голоса инструментов ширятся и нарастают. Тромбоны с тубой, фаготы и альты в одной группе, скрипки, кларнеты и флейты в другой, сначала отдельно и медленно, а затем сливаясь, падая и вздымаясь приводят к предчувствию катастрофы.

И тогда ... тромбоны и туба приносят мимолетное ... "Со святыми упокой".

... Молчание всех инструментов. Лишь умирающе звучит одна валторна, и ... снова тихое напоминание медных: ... "Со святыми упокой ..."

— Великая симфония! — вслух, потусторонне произносит музыкант. — Торжество светлой мечты и ее несбыточность.

В последнем tutti, — он переходит на едва слышимый шепот — тихое... совсем тихое... предельное пианиссимо МОЕЙ тубы...

Голос его прервался и он очнулся. Растерянно оглядел сокамерников. По его широкому лицу потекли крупные слезы, голова упала на колени и плечи задержались.

* * *

Каждое утро на востоке поднимается солнце. Начало начал всей жизни. Медленно и царственно оно проходит по небосклону. А вечером, становясь багрово-красным, опускается за горизонт. Какое-то время еще остается его далекий отсвет — сумерки . . . и наступает . . .
... Ночь.

* * *

Три человека смотрят неотрывно на дверь. Их обостренный слух старается поймать возможные шорохи за дверью. Нервы натянуты до предела.

— Та — ра — ра — ра ... ра — ра — ра ...
ра а а а, — раздается из угла парня.

— Замолчи! Замолчи-и-и! — визгливо кричит музыкант. У парня кривится рот и уходит в сторону. Он испуганно глядит на кричащего. Но музыкант с тиком на лице, уже снова, не отрываясь, смотрит на дверь.

Кто считает секунды, минуты, часы в такое время? Сколько его прошло?

— Умираю за народ! — тихо шепчет учитель. Но в камере это звучит, как гром! Музыкант вздрагивает, на секунду отрывает свой взгляд от двери, но снова, как загипнотизированный, опять смотрит на нее.

– Нужна твоя смерть народу, – про себя говорит парень и, перекрестившись, добавляет: "Господи! Прости меня грешного!"

Ночь. Звериный слух трех человек улавливает неясное шуршание за дверью.

Тихо, стараясь не шуметь, вставляется ключ в замочную скважину. Его поворот, негромкий шелчок и дверь бесшумно открывается.

Надзиратель входит в просвет двери. Берет у стоявших сзади двух сопровождающих маленький листок бумаги и, прочитав его, приглушенно спрашивает:

– Чья фамилия начинается на Н?

Молчание...

И только после осознания, что спрошенное не касается троих, парень вскакивает, но падает. Всккивает вновь и, подбежав к инженеру, тычет в него пальцем, судорожно говоря:

– Это он! Это он! Но он... не понимает... Он рехнулся!

Надзиратель отдельно и повелительно приказывает:

– Сядь на свое место! А ты – выходи!

Инженер не шевелится.

– Выходить! Живо!

Инженер сидит и смотрит в пол.

— Взять его, — тихо командует надзиратель.

Двое, быстро войдя и, привычно заломив руки за спину сидящего, поднимают его. Но, поняв, что вести так трудно, бросают локти, подхватывают под мышки и обвалившегося ташут к двери. Колени инженера волочатся по полу. Около двери он неожиданно сам поднимается на ноги! И, вдруг, закинув голову назад, широко открыв рот, дико и протяжно кричит:

— А — а — а ...!

— Быстро! — командует надзиратель.

— А — а — а... — и уже за закрывающейся дверью, — а — а — в — п — п ... — он смолкает.

— Резиновую грушу в рот вставили, чтобы не кричал, — крестясь, шепчет парень. — Понял под конец — что к чему.

.....

Музыкант трясется в мелкой дрожи... Из округленных глаз учителя каплют слезы.

И . . . снова наступает глухая и долгая тишина.

* * *

Утром камера была пуста.



О Г Л А В Л Е Н И Е

	стр.
Сон	7
Монолог	9
Прощение	12
Христос	15
Разговор	19
Слово	23
Староста	25
Симфония века	35

Последние книги Н. Троицкого

1. Борис Леонидович Пастернак, 1890 - 1960. Библиография произведений Б. Пастернака и литературы о нем на русском языке. С. Ш. А. 1969 г.
2. Земля и люди. Новеллы. Мадрид. 1972 г.
3. Идет человек... Новеллы. Мюнхен. 1972 г.
4. Круг. Новеллы. Мадрид. 1973 г.
5. Слово. Новеллы. Нью Йорк. 1975 г.